

В. Г. Белинский

**Сочинения Александра  
Пушкина. Статья  
десятая**



# Виссарион Григорьевич Белинский

## Сочинения Александра

### Пушкина. Статья десятая

*Текст предоставлен правообладателем.*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2819415](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2819415)

#### Аннотация

Десятая статья посвящена «Борису Годунову». «...Прежде всего скажем, что «Борис Годунов» Пушкина – совсем не драма, а разве эпическая поэма в разговорной форме. Действующие лица, вообще слабо очеркнутые, только говорят и местами говорят превосходно; но они не живут, не действуют. Слышите слова, часто исполненные высокой поэзии, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни действий. Это один из первых и главных недостатков драмы Пушкина; но этот недостаток не вина поэта: его причина – в русской истории, из которой поэт заимствовал содержание своей драмы. Русская история до Петра Великого тем и отличается от истории западноевропейских государств, что в ней преобладает чисто эпический ... характер, тогда как в тех преобладает характер чисто драматический...»

# Содержание

«Борис Годунов»  
Комментарии

4

# Виссарион Белинский

## Сочинения Александра Пушкина. Статья десятая

*Санкт-Петербург. Одиннадцать томов 1838–1841 г.*

### «Борис Годунов»

Совершенно новая эпоха художественной деятельности Пушкина началась «Полтавою» и «Борисом Годуновым». Хотя первая вышла в 1829 году, а последний – в 1831 году, тем не менее их должно считать почти современными друг другу произведениями, потому что «Борис Годунов» написан был гораздо раньше 1831 года, и знаменитая сцена между Пименом и Самозванцем была напечатана в «Московском вестнике» 1828 года, небольшая сцена между Курбским и Самозванцем – в «Северных цветах» на 1828 год, вышедших в 1827 году. «Полтава» со стороны художественности относится к «Борису Годунову», как *стремление* относится к *достижению*.<sup>[1]</sup> Публика приняла «Полтаву» холоднее, нежели прежние поэмы Пушкина; «Борис Годунов» был принят совершенно холодно, как доказательство совершенного паде-

ния таланта, еще недавно столь великого, так много сделавшего и еще так много обещавшего.<sup>[2]</sup> Как тогда, так и теперь у «Бориса Годунова» были жаркие поклонники; но, как тогда, так и теперь число этих поклонников было очень малочисленно, а число порицателей – огромно. Которые из них правы, которые виноваты? Те и Другие равно правы и равно виноваты, потому что, действительно, ни в одном из прежних своих произведений не достигал Пушкин до такой художественной высоты, и ни в одном не обнаружил таких огромных недостатков, как в «Борисе Годунове». Эта пьеса была для него истинно ватерлооскою битвою, в которой он развернул, во всей широте и глубине, свой гений и, несмотря на то, все-таки потерпел решительное поражение.

Прежде всего скажем, что «Борис Годунов» Пушкина – совсем не драма, а разве эпическая поэма в разговорной форме. Действующие лица, вообще слабо очеркнутые, только говорят и местами говорят превосходно; но они не живут, не действуют. Слышите слова, часто исполненные высокой поэзии, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни действий. Это один из первых и главных недостатков драмы Пушкина; но этот недостаток не вина поэта: его причина – в русской истории, из которой поэт заимствовал содержание своей драмы. Русская история до Петра Великого тем и отличается от истории западноевропейских государств, что в ней преобладает чисто эпический, или, скорее, *квизетический* характер, тогда как в тех преобладает характер чисто драматический.

До Петра Великого в России развивалось начало семейственное и родовое; но не было и признаков развития личного: а может ли существовать драма без сильного развития индивидуальностей и личностей? Что составляет содержание шекспировских драматических хроник? Борьба личностей, которые стремятся к власти и оспаривают ее друг у друга. Это бывало и у нас: весь удельный период есть не что иное, как ожесточенная борьба за великокняжеский и за удельные престолы; в период Московского царства мы видим сряду трех претендентов такого рода, но все-таки не видим никакого драматического движения. В период уделов один князь свергал другого и овладевал его уделом, потом, побежденный им, снова уступал ему его владение, потом опять захватывал его; но в уделе от этого ровно ничего не изменялось: переменялись лица, а ход и сущность дел оставались те же, потому что ни одно новое лицо не приносило с собою никакой новой идеи, никакого нового принципа. Отсюда объясняется, почему народонаселение того или другого княжества, того или другого города с одинаковою ревностью билось и за старого князя против нового, и за нового против старого. И одному богу известно, чем бы кончилась для Руси эта *усобица*, если бы так кстати не подоспели татары. С одной стороны, их жестокое и позорное иго губительно подействовало на нравственную сторону русского племени, а с другой — было для него благотельно, потому что чувством общей опасности и общего страдания связало разъединенные рус-

ские княжества и способствовало развитию государственной централизации через преобладание московского княжения над всеми другими. Единство более внешнее, нежели внутреннее, но тем не менее все же оно спасло Россию! Иоанн III, которого не без основания некоторые историки называют великим, был творцом неподвижной крепости Московского царства, положив в его основу идею восточного абсолютизма, столь благодетельного для абстрактного единства созданной им новой державы. И этот великий, невидимому, переворот совершился тихо и мирно, без всяких потрясений.<sup>[3]</sup> Иоанн III обнаружил в этом деле гениальную односторонность, переходившую почти в ограниченность, твердую волю, силу характера; он постоянно стремился к одной цели, действовал неослабно, но не боролся, потому что не встретил никакого действительного и энергического сопротивления. Дело обошлось без борьбы, и, таким образом, одно из самых драматических событий древней русской истории совершилось без всякого драматизма. Драматизм, как поэтический элемент жизни, заключается в столкновении и сшибке (коллизии) противоположно и враждебно направленных друг против друга идей, которые проявляются как страсть, как пафос. Идея самодержавного единства Московского царства, в лице Иоанна III торжествующая над умирающей удельною системою, встретила в своем безусловно победоносном шествии не противников сильных и ожесточенных, на все готовых, а разве несколько бессильных и жал-

ких жертв. Роды удельных князей, потомков Рюрика, скоро выродились в простую боярщину, которая перед престолом была покорна наравне с народом, но которая стала между престолом и народом не как посредник, а как непроницаемая ограда, разделившая царя с народом. Разрядные книги служат неоспоримым доказательством, что в древней России *личность* никогда и ничего не значила, но все значил *род*, и торжество боярина было торжеством целого рода боярского. Таким образом, удельная борьба княжеских родов переродилась в дворскую борьбу боярских родов. Но эта борьба не представляет никакого содержания для драматического поэта, потому что при дворе московском один род торжествовал над другим в милости царской, но ни один из торжествующих родов не вносил ни в думу, ни в администрацию никакой новой идеи, никакого нового принципа, никакого нового элемента. Новый любимец везде гнал своих прежних противников и их родичей, постригал их насильно в монахи, сажал в тюрьмы, рассылал по дальним городам, то в позорную неволю, то в почетную опалу. И таким образом боролись и менялись лица, а не идеи. Подобная борьба и подобные смены могли много значить для боярских родов, для дворской интриги и крамолы, но для государства они ровно ничего не значили; историческая же драма может брать содержание только, из государственной жизни. Царствование Грозного, невидимому, больше всего представляет материалов для драмы, как зрелище нещадной войны, объявленной

абсолютизмом боярской крамоле; но это только так может казаться и едва ли так было на самом деле, ибо мы не видим, чтоб Грозный чем-нибудь думал заменить гонимый им принцип боярщины. Словом, видно ожесточение к боярским родам, но нет в то же время никакого особенного внимания к народу; тут заметно, следовательно, личное чувство, а не идея, не принцип, не убеждение. Стало быть, и тут нет ничего для драмы... Но вот является Годунов, и, чем бы ни достиг он престола – злодейством ли, как в этом уверен Карамзин, или только смелым и гибким умом., без преступления, – во всяком случае он также не внес в русскую жизнь никакого нового элемента, и его возвышение, равно как и его падение, ничего не значили для будущих судеб русского народа; без Годунова все пошло бы так же точно, как и с Годуновым, У самозванца были разные политические замыслы, которые могли бы изменить ход нашей истории; но эти замыслы были не что иное, как удалые мечты человека решительного, пылкого, умного, но, что называется, без царя в голове, а потому они и кончились так, как следовало кончиться мечтам. Шуйский хотел из боярщины образовать аристократию; но как это желание было плодом не мысли, а трусости и низости, – оно и кончилось бедою для Шуйского и ровно ничем не кончилось для государства... Итак, вот сряду три лица, которые уже по необыкновенности употребленных ими способов для достижения верховной власти должны были бы внести в государственную жизнь новые основания и которые ровно

ничего не внесли в нее и прошли в истории без следа, как будто бы их и не было... Не так бывало в государствах Западной Европы. Для англичан, например, было великим событием царствование Иоанна Безземельного – этого слабого и ничтожного брата Ричарда-Львиного-Сердца, овладевшего властью в отсутствие героя, который гонялся в Палестине за бесполезными лаврами. Во Франции, например, очень важно было решение вопроса: кто будет управлять Людовиком XIII – его мать, Катерина Медичи, или кардинал Ришелье. Таких примеров можно было бы найти множество, но для пояснения нашей мысли довольно и этих двух.

Итак, если в «Борисе Годунове» Пушкина почти нет никакого драматизма, – это вина не поэта, а истории, из которой он взял содержание для своей *эпической* драмы. Может быть, от этого он и ограничился только *одной* попыткой в этом роде.

А между тем Борис Годунов, может быть, больше, чем какое-нибудь другое лицо русской истории, годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы в драматической форме, – для поэмы, в которой такой поэт, как Пушкин, мог бы развернуть всю силу своего таланта и избежать тех огромных недостатков и в историческом, и в эстетическом отношении, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть в тайну личности Годунова и поэтическим инстинктом разгадать тайну его исторического значения, не увлекаясь никаким автори-

тетом, никаким влиянием. Но Пушкин рабски во всем последовал Карамзину, – и из его драмы вышло что-то Похожее на мелодраму, а Годунов его вышел мелодраматическим злодеем, которого мучит совесть и который в своем злодействе нашел себе кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего нельзя из нее сделать!..<sup>[4]</sup>

Отдавая полную справедливость огромным заслугам Карамзина, в то же время можно и даже должно беспристрастными глазами видеть меру, объем и границы его заслуг. Человек, многосторонне даровитый, Карамзин писал стихи, повести, был преобразователем русского языка, публицистом, журналистом, можно сказать создал и образовал русскую публику и, следовательно, упрочил возможность существования и развития русской литературы; наконец дал России ее историю, которая далеко оставила за собою все прежние попытки в этом роде и без которой, может быть, еще и теперь знание русской истории было бы возможно только для записных тружеников науки, но не для Публики. И во всем этом Карамзин обнаружил много таланта, но не гениальности, и потому все сделанное им весьма важно, как факты истории русской литературы и образования русского общества, но совершенно лишено безусловного достоинства. Важнейший его труд, без сомнения, есть «История государства российского», которая читается и перечитывается до сих пор, когда уже все другие его сочинения пользу-

ются только почетною памятью, как произведения, имевшие большую цену в свое время. И действительно, до тех пор, пока русская история не будет изложена совершенно с другой точки зрения и с тем уменьем, которое дается только талантом, — до тех пор история Карамзина поневоле будет *единственною* в своем роде. Но уже и теперь ее недостатки видны для всех, может быть, еще больше, нежели ее достоинства. В недостатках *фактических* нельзя винить Карамзина, приступившего к своему великому труду в такое время, когда историческая критика в России едва начиналась и Карамзин должен был, пища историю, еще заниматься историческою разработкою материалов. Гораздо важнее недостатки его истории, происшедшие из его способа смотреть на вещи. Сначала его история — поэма вроде тех, которые писались высокопарною прозою и были в большом ходу в конце прошлого века. Потом мало-помалу, входя в дух жизни древней Руси, он, может быть, незаметно для самого себя, увлекаясь своим трудом, увлекся и духом древнерусской жизни. С Иоанна III Московское царство, в глазах Карамзина, становится высшим идеалом государства, и, вместо истории допетровской России, он пишет ее панегирик. Все в ней кажется ему безусловно великим, прекрасным, мудрым и образцовым. К этому присоединяется еще мелодраматический взгляд на характеры исторических лиц. У Карамзина ни в чем нет середины: у него нет людей, а есть только или герои добродетели, или злодеи. Этот мелодраматизм простирается до того, что

одно и то же лицо у него сперва является светлым ангелом, а потом черным демоном. Таков Грозный: пока им управляют, как машиною, Сильвестр и Адашев, он – сама добродетель, сама мудрость; но умирает царица Анастасия, – и Грозный вдруг является бичом своего народа, безумным злодеем. Историк пересказывает все ужасы, сделанные Грозным, и взводит на него такие, которых он и не делал, заставляя его убивать два раза, в разные эпохи, одних и тех же людей. Жертвы Грозного часто говорят ему перед смертью эффектные речи, как будто бы переведенные из Тита Ливия. Такого же мелодраматического злодея сделал Карамзин и из Бориса Годунова. Подверженный увлечению, которое больше всего вредит историку, он об убиении царевича Димитрия говорит утвердительно, как о деле Годунова, как будто бы в этом уже невозможно никакое сомнение. Юноша Годунов, прекрасный лицом, светлый умом, блестящий красноречием, зять палача Малюты Скуратова, и в рядах опричины умел остаться чистым от разврата, злодейства и крови. Черта характера необыкновенного! Но в ней еще не видно строгой и глубокой добродетели: по крайней мере последующая жизнь Годунова не подтверждает этого. «Будучи царем, он не долго сдерживал порывы своей подозрительности и скоро сделался мучителем и тираном. Вообще, если он при Грозном не запятнал себя кровью, в этом видно больше ловкости, умения и расчета, нежели добродетели. Годунов был необыкновенно умен и потому не мог не гнушаться злодейством, свершен-

ным без нужды и без причины. Впрочем, мы этим не хотим» сказать, чтоб Годунов был лицемерный злодей; нет, мы хотим только сказать, что можно в одно и то же время не быть ни злодеем, ни героем добродетели и не любить злодейства в одно и то же время по чувству и по расчету... Карамзинский Годунов – лицо совершенно двойственное, подобно Грозному: он и мудр и ограничен, и злодей и добродетельный человек, и ангел и демон. Он убивает законного наследника престола, сына своего первого благодетеля и брата своего второго благодетеля, мудро правит государством и, принимая корону, клянется, что в его царстве не будет нищих и убогих и что последнюю рубашкою будет он делиться с народом. И честно держит он свое обещание: он делает для народа всё, что только было в его средствах и силах сделать. А между тем народ хочет любить его – и не может любить! Он приписывает ему убиение царевича: он видит в нем умышленного виновника всех бедствий, обрушившихся над Россией; взводит на него обвинения самые нелепые и бессмысленные, как, например, смерть датского царевича, нареченного жениха его милой дочери. Годунов все это видит и знает. Пушкин бесподобно передал жалобы *карамзинского* Годунова на народ:

Мне счастья нет. Я думал свой народ  
В довольствии, во славе успокоить,  
Щедротами любовь его снискать —

Но отложил пустое попеченье:

Живая власть для черни ненавистна,  
Они любить умеют только мертвых.  
Безумны мы, когда народный плеск  
Иль ярый вопль тревожит сердце наше.  
Бог насылал на землю нашу глад;  
Народ завыл, в мученьях погибая;  
Я отворил им житницы; я злато  
Рассыпал им; я им сыскал работы:  
Они ж меня, беснуясь, проклинали!  
Пожарный огонь их дома истребил;  
Я выстроил им новые жилища:  
Они ж меня пожаром упрекали!  
Вот черни суд: ищи ж ее любви!  
В семье моей я мнил найти отраду,  
Я дочь мою мнил осчастливить браком;  
Как буря, смерть уносит жениха...  
И тут молва лукаво нарекает  
Виновником дочернего вдовства  
Меня, меня, несчастного отца!..  
Кто ни умрет, я всех убийца тайный:  
Я ускорил Феодора кончину,  
Я отравил свою сестру царицу,  
Монахиню смиренную... все я!

Это говорит царь, который справедливо жалуется на свою судьбу и на народ свой. Теперь послушаем голоса если не народа, то целого сословия, которое тоже, кажется, не без

основания жалуется на своего царя:

.....Он правит нами,  
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).  
Что пользы в том, что явных казней нет.  
Что на колу кровавом всенародно  
Мы не поем канонов Иисусу,  
Что нас не жгут на площади, а царь  
Своим жезлом не подгребает углей?  
Уверены ль мы в бедной жизни нашей!  
Нас каждый день опала ожидает.  
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,  
А там в глуши голодна смерть иль петля.  
Знатнейшие меж нами роды где?  
Где Сицкие князья, где Шестуновы,  
Романовы, отечества надежда?  
Заточены, замучены в изгнание.  
Дай срок: тебе такая ж будет участь, —  
Легко ль, скажи: мы дома, как Литвой,  
Осаждены неверными рабами;  
Все языки, готовые продать,  
Правительством подкупленные воры.  
Зависим мы от первого холопа,  
Которого захочем наказать.  
Вот – Юрьев день задумал уничтожить.  
Не властны мы в поместьях своих.  
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,  
Корми его. Не смей переманить  
Работника! Не то в Приказ холопий.

Ну, слыхано ль хоть при царе Иване  
Такое зло? А легче ли народу?  
Спроси его. Попробуй самозванец  
Им посулить старинный Юрьев день,  
Так и пойдет потеха.

В чем же заключается источник этого противоречия в характере и действиях Годунова? Чем объясняет его наш историк и вслед за ним наш поэт? Мучениями виновной совести!.. Вот что заставляет говорить Годунова поэт, рабски верный историку:

Ах, чувствую: ничто не может нас  
Среди мирских печалей успокоить;  
Ничто, ничто... едина разве совесть —  
Так, здравая, она восторжествует  
Над злобою, над темной клеветою.  
Но если в ней единое пятно,  
Единое случайно завелось,  
Тогда беда: как язвой моровой,  
Душа стгорит, нальется сердце ядом,  
Как молотком стучит в ушах упреком,  
И все тошнит, и голова кружится,  
И мальчики кровавые в глазах...  
И рад бежать, да некуда... ужасно!  
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Какая жалкая мелодрама! Какой мелкий и ограниченный

взгляд на натуру человека! Какая бедная мысль – заставить злодея читать самому себе мораль, вместо того чтоб заставить его всеми мерами оправдывать свое злодейство в собственных глазах! На этот раз историк сыграл с поэтом плохую шутку... И вольно же было поэту делаться эхом историка, забыв, что их разделяет друг от друга целый век!.. Оттого-то в философском отношении этот взгляд на Годунова сильно напоминает собою добродушный пафос сумароковского «Димитрия Самозванца»...<sup>[5]</sup>

Прежде всего заметим, что Карамзин сделал великую ошибку, позволив себе до того увлечься голосом современников Годунова, что в убиении царевича увидел неопровержимо и несомненно доказанное участие Бориса... Из наших слов, впрочем, отнюдь не следует, чтоб мы прямо и решительно оправдывали Годунова от всякого участия в этом преступлении. Нет, мы в криминально-историческом процессе Годунова видим совершенную недостаточность доказательств *за* и *против* Годунова. Суд истории должен быть осторожен и беспристрастен, как суд присяжных по уголовным делам. Грешно и стыдно утвердить недоказанное преступление за таким замечательным человеком, как Борис Годунов. Смерть царевича Димитрия – дело темное и неразрешимое для потомства. Не утверждаем за достоверное, но думаем, что с большею основательностью можно считать Годунова невинным в преступлении, нежели виновным. Одно уже то сильно говорит в пользу этого мнения, что Годунов

– человек умный и хитрый, администратор искусный и дипломат тонкий – едва ли бы совершил свое преступление так неловко, нелепо, нагло, как свойственно было бы совершить его какому-нибудь удалому пройдохе вроде Димитрия Самозванца, который увлекался только минутными движениями своих страстей и хотел пользоваться настоящим, не думая о будущем. Годунов имел все средства совершить свое преступление тайно, ловко, не навлекая на себя явных подозрений. Он мог воспитать царевича так, чтоб сделать его неспособным к правлению и довести до монашеской рясы; мог даже искусно оспаривать законность его права на наследство, так как царевич был плодом седьмого брака Иоанна Грозного. Самое вероятное предположение об этом темном событии нашей истории должно, кажется, состоять в том, что нашлись люди, которые слишком хорошо поняли, как важна была для Годунова смерть младенца, заграждавшего ему доступ к престолу, и которые, не сговариваясь с ним и не открывая ему своего умысла, думали этим страшным преступлением оказать ему великую и давно ожидаемую услугу. Это напоминает нам сцену из *Антония и Клеопатры* Шекспира на палубе помпеева корабля, где Помпеи находился с своими соперниками, Цезарем, Антонием и Лепидом:

*Менас.* Хочешь ли ты быть владыкою всего света?

*Помпей.* Что ты говоришь?

*Менас.* Хочешь ли ты быть государем всего света?

*Помпей.* Как так?

*Менас.* Согласись на мое предложение – и я подарю тебе целый свет, – я, которого ты, считаешь бедняком.

*Помпей.* Или ты перепил?

*Менас.* Нет, Помпей, я не пил вина. Будь смел – и ты сделаешься земным Юпитером. Все области, какие окружает океан, и вся земля, которую покрывает свод небесный, – твои, если ты захочешь иметь их.

*Помпей.* Скажи – как?

*Менас.* Три обладателя света, твои три соперника – на твоём корабле. Позволь мне отрезать якорь. Как скоро мы определим пасть их головам, тогда все – твоё.

*Помпей.* Ах, если б ты исполнил свое намерение и не говорил мне о нём!.. Такой поступок во мне будет низостью, в тебе был бы важною услугою. Знай: у меня не польза управляет честью, а честь – пользою. Пожалей о том, что язык твой изменил твоему делу. Сделай ты это тайно, я наградил бы тебя за такое дело; а теперь должен осудить его. Оставь его и пей.

И если услужники Годунова были догадливей и умнее Менаса, то нельзя не видеть, что они оказали Годунову очень дурную услугу не в одном нравственном отношении. Если ж Годунов внутренне, втайне, доволен был их услугою, нельзя не согласиться, что на этот раз он был очень близорук и недалководен. Радоваться этому преступлению значило для него – радоваться тому, что у его врагов было, наконец, страшное против него оружие, которым они при случае хорошо могли воспользоваться. Нет, еще раз: скорее можно предположить (как ни странно подобное предположение),

что царевич погиб от руки врагов Годунова, которые, свалив на него это преступление, как только для него одного выгодное, могли рассчитывать на верную его гибель. Как бы то ни было, верно одно: ни историк Государства Российского, ни рабски следовавший ему автор «Бориса Годунова» не имели ни малейшего права считать преступление Годунова доказанным и неподверженным сомнению.

Но – скажут нам – убеждение Карамзина оправдывается единодушным голосом современников Годунова, убеждением всего народа в его время; а ведь глас божий – глас народа! Так; но здесь главный факт есть не убеждение тогдашнего народа в преступлении Годунова, а готовность, расположение народа к этому убеждению, – расположение, причина которого заключалась в нелюбви, даже в ненависти народа к Годунову. За что же эта ненависть к человеку, который так любил народ, столько сделал для него и которого сам народ сначала так любил повидимому? В том-то и дело, что тут с обеих сторон была лишь «любовь повидимому», – и в этом заключается трагическая сторона личности Годунова и судьбы его. Если бы Пушкин видел эту сторону, тогда, вместо характера вполовину мелодраматического, у него вышел бы характер простой, естественный, понятный и вместе с тем трагически-высокий. Правда, и тогда у Пушкина не было бы драмы в строгом значении этого слова, но зато была бы превосходная драматическая поэма или эпическая трагедия.

Итак, разгадать историческое значение и историческую

судьбу Годунова – значит объяснить причину: почему Годунов, невидимому, столь любивший народ и столь много для него сделавший, не был любим народом?

Попытаемся объяснить этот вопрос так, как мы его понимаем.

Карамзин и Пушкин видят в этой, повидимому, незаслуженной ненависти народа к Годунову кару за его преступление. Слабость и нерешительность мер, принятых Годуновым против Самозванца, они приписывают смущению виновной совести. Этот взгляд чисто мелодраматический и в историческом и в поэтическом отношении, особенно в применении к такому необыкновенному человеку, каков был Борис!

В поэме Пушкина сам Годунов объясняет причину народной к себе ненависти так:

Живая власть для черни ненавистна.  
Они любить умеют только мертвых.  
Безумны мы, когда народный плеск  
Иль ярый вопль тревожит сердце наше.

Это оправдание – не голос истины, а голос оскорбленного самолюбия, не твердая речь великого человека, а плаксивая жалоба неудавшегося кандидата в гении, раздосадованного неудачею. Нет, народ никогда не обманывается в своей симпатии и антипатии к живой власти: его любовь или его нелюбовь к ней – высший суд! Глас божий – глас народа!

Из всех страстей человеческих, после самолюбия, самая

сильная, самая свирепая – властолюбие. Можно наверное сказать, что ни одна страсть не стоила человечеству столько страданий и крови, как властолюбие. Во времена просвещенные и у народов цивилизованных властолюбие является всегда, в соединении с честолюбием, так что иногда трудно решить, которая из этих страстей господствующая в человеке, и властолюбие кажется только результатом честолюбия. Во времена варварские у народов необразованных властолюбие имеет другое значение, потому что соединяется не только с честолюбием, но еще с чувством самохранения: где, не будучи первым, так легко погибнуть ни за что, – там всякому вдвойне хочется быть первым, чтоб никого не бояться, но всех страшить. Но так как каждому из всех или многих невозможно быть первым, то право первого естественным ходом истории везде утвердилось потомственно в одном роде, на основании права в прошедшем или предания. Время осватило и утвердило это право за немногими родами. Это отняло у всех и у многих всякую возможность губить друг друга и целый народ притязаниями на верховное первенство. Перед правом избранного провидением рода умолкла зависть, смирилось властолюбие: род признан высшим надо всеми по праву свыше, и равные между собою охотно повинуются высшему перед всеми ими. Но когда царствующий род прекращается, после наследственного владычества в продолжение нескольких веков, и когда право высшей власти захватывает человек, вчера бывший равным со всеми пе-

ред верховною властью, а сегодня долженствующий начать собою новую династию, – тогда, естественно, разнуждывается у всех страсть властолюбия. Каждый думает: если *он* мог быть избран, почему же *я* не мог? Чем *он* лучше меня, и почему не *я* лучше его? Но счастливый властолюбец силою и хитростию заставляет молчать всех и всё; страсти умолкают, но до времени, до случая...

Естественно, у кого нет, в отношении приобретения верховной власти, освященного веками права законного наследия, – тому, чтоб заставить в себе видеть не похитителя власти, а властелина по праву, остается опереться только на право личного превосходства над всеми, на право гения. Только на условии этого права толпа согласится безусловно признать владычество человека, который в гражданском отношении еще вчера стоял наравне с нею.

Было ли за Годуновым это право?

Нет!

И вот где разгадка его исторического значения и его исторической судьбы: он хотел играть роль гения, не будучи гением, – и зато пал трагически и увлек за собою падение своего рода...<sup>[6]</sup>

Такой человек есть лицо трагическое; такая участь есть законное достояние трагедии. И что бы мог сделать Пушкин из своей поэмы, если б взглянул на идею Бориса Годунова с этой точки!

В какой бы сфере человеческой деятельности ни проявил-

ся гений, он всегда есть олицетворение творческой силы духа, вестник обновления жизни. Его назначение – ввести в жизнь новые элементы и через это двинуть ее вперед, на высшую ступень. Явление гения – эпоха в жизни народа. Гения уже нет, а народ долго еще живет в формах жизни, им созданной, долго – до нового гения. Так Московское царство, возникшее силою обстоятельств при Иоанне Калите и утвержденное гением Иоанна III, жило до Петра Великого. Тот не гений в истории, чье творение умирает вместе с ним: гений по пути истории пролагает глубокие следы своего существования долго после своей смерти.

Борис Годунов был человек необыкновенно умный и способный. Царедворец жестокого царя, он умел попасть к нему в милость, не замавав себя ни каплею крови, ни одним бесчестным поступком. Но это *уменье* объясняется отчасти ловко рассчитанною женитьбою на дочери палача, Малюты Скуратова. В этой черте выказывается ловкий царедворец, но гения еще не видно. Всякий, даже самый ограниченный, но хитрый человек сумел бы расчесть выгоды такого брака в царствование Грозного; но гений, может быть, и не решился бы на такой расчет, тая в себе огромные замыслы на будущее: титло зятя палача Малюты Скуратова было ненавистно тому народу, владыкою которого впоследствии сделался Годунов. Повторяем: расчет тонкий, хитрый, но не гениальный; в нем виден придворный интриган, а не будущий великий государь... Годунов делается зятем наследника, а по смерти

Грозного – членом верховной думы, – и Грозный ему в особенности, мимо старших бояр, завещал блюсти царство. Никакие ведьмы не предсказывали этому новому Макбету его будущего величия; но его голове было от чего закружиться и без предсказаний! Это фантастическое счастье он мог принять за лучшее из всех предсказаний! Он уничтожил верховную думу и официально был назван правителем государства: только для вида подавал голос в царской думе, но решал все дела самовластно, принимал послов, договаривался с ними и давал их свите целовать свою руку... На троне сидел царь по имени, молчальник и молещик в сущности, который вручил своему родственнику и любимцу всю власть свою, «избывая мирские суеты и докуки...» Чего недоставало Годунову? – только престола... И он достиг его.

Как правитель и как царь, Годунов обнаружил много ума и много способности, но несколько гения. В том и другом случае это был не больше, как умный и способный министр, – но не Сюлли, не Кольбер, которые умели открыть новые источники государственной силы там, где никто не подозревал их; нет, это был министр, который с успехом вел государство по старой, уже проложенной колее, на основании сохранения *status quo*<sup>1</sup>. Насильственная смерть царевича, – кто бы ни был ее причиною, – уже бросила на него тень подозрения в глазах народа, и это подозрение всеми силами возбуждали и поддерживали враги его – бояре, которые, естественно, никак не

---

<sup>1</sup> Существующего порядка. – *Ред.*

могли простить ему присвоения того, на что каждый из них считал себя в точно таком же, как и он, праве. Как правитель, Годунов, не мог вносить новых элементов в жизнь государства, которым управлял не от своего имени. Подобная попытка могла бы расстроить все его планы и погубить его. Но когда он сделался царем, тогда он непременно должен был явиться реформатором-зиждителем, чтоб заставить и народ и врагов своих – бояр забыть, что еще недавно был он таким же, как и они, подданным. Но что же он сделал для России, сделавшись ее царем? и каким царем – самовластным, воля которого для народа была воля божия? Чего бы нельзя было сделать с такою властью, подкрепляемую гением! Но, и сделавшись царем, Годунов остался тем же умным и ловким правителем, каким он был при Феодоре. Над окружающими его боярами он имел личных преимуществ не больше, как настолько, чтоб оскорбить своим превосходством их самолюбие, их ограниченность и посредственность, но не настолько, чтоб покорить их этим превосходством, заставить их пасть перед ним, как перед существом высшего рода... Он ловко разыграл комедию, по счастливому выражению Пушкина, *морщившись перед короною, как пьяница перед чаркою вина*; он заставил себя избрать, а не сам объявил себя царем; он долго обнаруживал какой-то ужас к мысли о верховной власти и долго заставлял себя умолять. Но эта комедия даже чересчур тонко была разыграна, и в ней проглядывает не образ великого человека, который всегда прямо идет к сво-

ей цели, даже и тогда, когда идет к ней не прямою дорогою, а образ «маленького-великого человека», смелого интригана. Это сейчас же и обнаружилось, как скоро избрание было решено, и венчание осталось уже только обрядом, который не опасно было и отложить на время. Когда Сикст V был избран конклавом, он вдруг выпрямился и, против обыкновения, сам запел «Te Deum»<sup>2</sup>: в этой поспешности виден великий человек, достигший своей цели и принимающий власть не как нищий копейку, с низкими поклонами, но с уверенностью и гордостью силы, сознающей свое право на власть. Сикст не начал рассыпаться в обещаниях: буду-де таков-то и таков, сделаю то и другое; а сейчас начал *быть и делать*, никому не угождая, ни к кому не подлаживаясь и заставляя трепетать тех, которые никого не трепетали и которых все трепетали... Не так поступил Годунов. При венчании на царство он клянется быть отцом народа, показывает свою рубашку, говоря, что всегда будет готов разделить ее с последним своим подданным... Кто просил, кто требовал от него этих обещаний и клятв? И что значат они, что видно в них, если не чрезмерная радость о достижении давно желанной цели, если не благодарность, рожденная этой радостью, – благодарность за блестящее бремя не по силам, за великое титло не по достоинству, за высшую власть не по заслуге?.. Не так принимает подобную власть гений, великий человек: он берет ее, как что-то свое, принадлежащее ему по праву, никому не

---

<sup>2</sup> Тебя, бога. – *Ред.*

кланяясь, никого не благодаря, никому не делая обещаний, не давая клятв в порыве дурно скрытого восторга. Вскоре после Годунова в русской истории снова повторилось зрелище обещаний и клятв: ничтожный Шуйский, в благодарность за корону, которой он сознавал себя внутренне недостойным, предлагал боярщине права, которых она от него не просила и взять не хотела... Но вот Годунов – царь. Ласкам народу нет конца, милости на всех льются рекою... Первый из русских царей обратил он свое непосредственное, прямое, а не через бояр, внимание на массу народа, на его низший и, следовательно, самый обширный слой... Это была какая-то нежная, родственная заботливость, в которой был виден больше отец, нежели царь... Народ должен был боготворить Годунова, и Годунов должен бы быть самым народным из всех бывших до него царей русских... В таком случае что ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Он мог спокойно презирать ее: на страже его стояла лучшая и надежнейшая из всех швейцарских и других возможных гвардий – любовь народная... и в самом деле, народ славил царя благодушного, ласкового, правосудного, милостивого, доступного... Народ даже старался, силился полюбить Годунова – и никак не мог... Если у него и была на минуту любовь к Годунову, то в голове только, а не в сердце: ум и воображение народа удивлялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться с умом и воображением... Но вот прошла и минута этой надуманной, так сказать, головной любви; Борис удвоит свои

благоденствия народу, а народ, принимая их, клянет Бориса... Еще прежде его царствования, когда еще он был только правителем, тень убитого царевича начала его преследовать: Борис делает счастливый отпор наглому нашествию на Россию крымского хана, проникшего до стен самой Москвы; а народ говорит, что сам Борис призвал хана, чтоб отвратить общее внимание от смерти царевича и дешевою ценою прославиться избавителем отечества... Царица родила дочь: заговорили, что она родила сына, а Борис подменил его девочкою; а когда маленькая царевна умерла, прошел слух, что Годунов отравил ее, боясь, чтоб Федор не передал ей престола... В Москве начались пожары. – Борис казнил зажигателей и помог погоревшим, а народ обвинил его самого в зажигательстве и жалел о казненных, как о невинных жертвах... Годунов стал преследовать распускателей этих слухов и казнить их: ничего худшего не мог он выдумать – это значило согласиться в справедливости слухов... Ясно, что слухи эти распускали бояре, но народ ловил их жадным ухом...

Но вот венчание на царство ослепило народ: и Борис, и сам народ приняли удивление за любовь... Комедия продолжалась только один год: Борис не выдержал своей роли и сорвал с себя маску, не имея силы дольше носить ее. Интриган становится тираном и напоминает собою Грозного. У него есть свой Малюта Скуратов: это – презренный, подлый брат его – Семен Годунов. Лаская и награждая явно, он мучит и казнит тайно, и все по поводу слухов, все по подозрению в

ненависти к царю и злых против него умыслах. Вельского, уже раз сосланного в ссылку, он ссылает снова, выщипав ему всю бороду по одному волоску: какое татарское наказание!.. Тюрьмы были набиты битком; шпионство сделалось не только выгодным, но и почетным ремеслом... Явных казней было мало; большею частию все умирали *скоропостижно*: этот человек не умел быть даже тираном открыто, как Грозный, и тиранствовал во мраке, тайком... Открывается страшный голод в России; народ гибнет тысячами, шайки разбойников грабят и режут безнаказанно; Борис строго наказывает скупщиков хлеба, сыплет на народ деньгами, дает приют голодным и нищим, посылает отряды против разбойников; строит башню Ивана Великого, чтоб дать народу работу; словом, он честно, верно выполняет свою клятву – делить с народом последнюю рубашку свою... И все напрасно, все тщетно!.. Прносятся слухи о Самозванце; наконец, Самозванец уже поддерживается Польшею, идет в Россию, к нему передаются русские толпами, а Годунов ничего не делает, ничего не предпринимает, он только собирает и жжет манифесты Самозванца и требует от Шуйского клятвы, что царевич точно умер... Какой жалкий царь! Он мог бы раздавить Самозванца – и пал под его ударами. Подозревают, что он отравил себя ядом: может быть; но также может быть, что он умер *скоропостижно* от страшного напряжения сил, вследствие внутренних волнений. В обоих случаях он умер малодушно. Первое известие о Самозванце Годунов принял даже очень хо-

лодно; это может служить доказательством не одному тому, что он был уверен в смерти царевича, но и тому, что он был невинен в ней; в то же время это служит доказательством, как мало был он дальновиден, как худо понимал свое положение. Он бы должен был знать, что тень царевича – самый ужасный враг его, во всяком случае был он убийцею царевича или нет; в первом случае эта тень была его неизбежною карою за преступление; во втором она была превосходным предлогом для народной ненависти. Бояре могли знать невинность Годунова, но, если народ не любил его, – этого было уже слишком достаточно, чтоб для народа преступление его было яснее дня. Пока царевич жил в Угличе с матерью, на него никто не обращал внимания: ведь он был плодом *седьмого* брака Грозного, и личный характер его матери не возбуждал ни участия, ни уважения; Грозный хотел ее отослать от себя и жениться в восьмой раз, но смерть помешала ему выполнить это намерение. Когда же царевич был убит и народная ненависть запылала, – младенец, святой мученик, сделался предметом народного благоговения...

На всех действиях Бориса, даже самых лучших, лежит печать отвержения. Все дела его неудачны, не благодатны, потому что все они выходили из ложного источника. Любовь его к народу была не чувством, а расчетом, и потому в ней есть что-то ласкательное, льстивое, угодническое, и потому народ не обманулся ею и ответил на нее ненавистью. Удивительное существо – народ! Почти всегда невежественный,

грубый, ограниченный, слепой, – он непогрешительно истинен и прав в своих инстинктах; если он иногда обманывается с этой стороны, то на одну минуту – не более, и кто не любит его по внутренней, живой, сердечной потребности любить его, тот может осыпать его деньгами, умирать за него, – он будет им превозносим и восхваляем, но любим никогда не будет. Если же кто любит его не по расчету, а по внутренней инстинктуальной потребности любить, тот может идти вопреки всем его желаниям, – и за это народ будет его осуждать, будет на него роптать и в то же время будет любить его. Как Годунов служит живым доказательством первой истины, так Петр Великий служит живым доказательством второй. Он задумал страшную реформу, пошел наперекор духу, преданиям, истории, обычаям, привычкам народа, – и не только умнейшие из людей его времени имели полное право смотреть на его реформу, как на самую несбыточную и противную здравому смыслу фантазию, но, вероятно, и у него самого бывали горькие минуты сомнения и разочарования, когда и сам он думал то же. Реформа его встретила сильную оппозицию – не со стороны только мятежных стрельцов и невежественных раскольников: эта оппозиция была слишком бессильна перед его двойным правом действовать самовластно – правом наследства и правом гения; но и со стороны всего народа, которого с теплых палатей лени и невежества стащил он на труд живой и деятельный. Народ, повинувшись ему безусловно, осуждал его действия и роптал на него, но вместе

с тем и любил его до готовности отдать за него последнюю каплю своей крови... Между тем Петр никогда не делал ему обещаний, не давал клятв, но шел гордо и прямо, требуя повиновения, а не умоляя о нем; но зато все, обещанное народу Годуновым, он исполнял на деле, и еще гораздо лучше, потому что действовал в этом случае не по расчету, а по влечению сердца... Таков гений: затеяв дело, которое, по всем расчетам человеческой мудрости, не могло не казаться безумием, он доводит его до конца, торжествуя над всеми препятствиями... В чем состоит тайна этого успеха? В творческой силе, присущей организму гения, как инстинкт, – больше ни в чем! Гений часто действует инстинктивно, безумно – и всегда успевает, между тем как талант рассчитывает верно, соображает тонко, действует мудро, – все это видят и все одобряют его цель и средства, никто не сомневается в успехе, а между тем, глядь, – вся эта мудрость сама собою обратилась в безумие, и великолепное здание, воздвигавшееся с таким трудом, очутилось карточным домиком: дунул ветер – и нет его... Вот *талант*, который берется за роль *гения*!

Борис Годунов не был человеком ничтожным и даже обыкновенным; напротив, это был человек ума великого, который целою головою стоял выше всего своего народа. Борис был даже выше многих предрассудков своего времени: первый из царей русских решился он выдать дочь за иностранного и иноверного принца; говорят, хотел и сына женить на иностранной принцессе; это вовлекло бы Россию в более жи-

вые и плодотворные отношения с Европою, нежели в каких она была с нею до того времени, и потому имело бы огромное влияние на ее будущую судьбу. Борис уважал просвещение, тщательно, сколько было в его средствах, воспитывал детей своих, особенно сына; хотел основать в Москве университет и послал в Европу за учеными людьми. Уже одно то, что он понял необходимость опереться преимущественно на любовь народа, показывает, как умен был этот несчастный любимец счастья. Но все предприятия его не состоялись именно потому (а не по чему-нибудь другому), что у него был только ум и даровитость, но не было гениальности, тогда как судьба поставила его в такое положение, что гениальность была ему необходима. Будь он законный, наследный царь, — он был бы одним из замечательнейших царей русских: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформатором и оставалось бы только хранить status quo, улучшая, но не изменяя его, — а для этого и без гениальности достало бы у него ума и способности, и он много сделал бы полезного для России. Но он был выскочка (parvenu) и потому должен был быть гением или пасть — и пал... Ведя Русь по старой колее, он сам не мог не споткнуться на этой колее, потому что старая Русь не могла простить ему того, что видела его боярином прежде, чей увидела царем своим. Чтоб утвердиться самому на престоле и упрочить его за своим потомством, ему надо было преобразовать, перевоспитать Русь, внести в ее жизнь новые элементы. Но для этого у него не было никакой идеи, ника-

кого принципа. Он был только умнее своего времени, но не выше его. В нем самом жила старая Русь: доказательство – его тирания и борода Вельского... А между тем он чувствовал, что по его положению ему необходимо быть преобразователем, но вместе с тем, как человек не гениальный, думал, что для этого достаточно только прибавить кое-что нового. И вот он учреждает в Москве патриарший престол и сажает на него не лучшего, а преданнейшего из духовных лиц, который и короновал его впоследствии. Это нововведение было совершено в духе того времени: новое доказательство, что Годунов не был выше своего времени и ничего не видел за ним... Другое нововведение было еще более в современном ему духе и по тому самому было вредно для России того века и для новой России, и губительно для самого Годунова; – мы говорим о том законе Годунова, который увековечен русской пословицею: *Вот тебе, бабушка, Юрьев день!* Этим нововведением Годунов раздражил обе стороны, которых оно касалось – и помещиков и крестьян. Первые жаловались, что они не могут теперь выгнать из своего поместья ленивого или развратного холопа и обязаны кормить его за то, что он ничего не делает, или за то, что он ворует и пьет. Вторые, – говоря языком римского права, – из *personae*<sup>3</sup> сделались *res*<sup>4</sup>. Значит, до Годунова у нас не было крепостного сословия, и в этом отношении не мы у Европы, а Европа у нас могла бы

---

<sup>3</sup> Вещами. – *Ред.*

<sup>4</sup> Лиц. – *Ред.*

с большою для себя пользою позаимствоваться. Вместо крепостного права у нас было только поместное право – право владеть землею и обрабатывать ее руками пролетариев, на свободных, с ними условиях, обратившихся в обычай. Этот новый закон был так в духе тех времен, что утвердился и укоренился надолго – до времен Екатерины, уничтожившей даже слово «раб» и изменившей положение этого сословия... И вот чем пережил себя Годунов в потомстве.

У великого человека и сердце великое. Идя своею дорогою и опираясь на свою силу, он ничего не боится; он разит своих врагов, но не мстит им; в их падении для него заключается торжество его дела, а не удовлетворение обиженного самолюбия. Петр Великий умел карать врагов своего дела и умел прощать личных врагов, если видел, что они ему не опасны. Его кара была актом правосудия, а не делом личного мщения, и он карал открыто, среди белого дня, но не отравлял во мраке; приняв публично донос, публично исследовал дело и публично наказывал, если донос оказывался справедливым. Когда бунт стрельцкий заставил его воротиться из путешествия, – кровь стрельцов лилась рекою в глазах грозного царя, – и он не боялся показаться тираном, потому что не был им. Не так действовал Годунов. Сперва он крепился, надеясь ласкою и милостию обезоружить тайных врагов и прекратить неблагоприятные о себе толки; но, видя, что это не действует, не вытерпел, и тогда настала эпоха террора, шпионства, доносов, пыток и *скоропостижных смертей*...

У Годунова не было великого сердца, и потому он не мог не мучиться подозрениями, не бояться крамолы, не увлечься личным мщением и, наконец, не сделаться тираном. Словом, он был только замечательный, а не великий человек, умный и талантливый администратор, но не гений.

Итак, верно понять Годунова исторически и поэтически – значит понять необходимость его падения равно в обоих случаях: виновен ли он был в смерти царевича, или невинен. А необходимость эта основана на том, что он не был гениальным человеком, тогда как его положение непременно требовало от него гениальности. Это просто и ясно.

Отчего же не понял этого Пушкин? Или недостало у него художественной проницательности, поэтического такта? Нет, оттого, что он увлекся авторитетом Карамзина и безусловно покорился ему. Вообще, надобно заметить, что, чем больше понимал Пушкин тайну русского духа и русской жизни, тем больше иногда и заблуждался в этом отношении. Пушкин был слишком русский человек и потому не всегда верно судил обо всем русском: чтоб что-нибудь верно оценить рассудком, необходимо это что-нибудь отделить от себя и хладнокровно посмотреть на него, как на что-то чуждое себе, вне себя находящееся, – а Пушкин не всегда мог делать это потому именно, что все русское слишком срослось с ним. Так, например, он в душе был больше помещиком и дворянином, нежели сколько можно ожидать этого от поэта. Говоря в своих записках о своих предках, Пушкин осуждает одного из

них за то, что тот подписался под соборным деянием об уничтожении местничества. Первыми своими произведениями он прослыл на Руси за русского Байрона, за человека отрицания. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить более антибайронической, более консервативной натуры, как натура Пушкина. Вспоминая о тех его «стишках», которые молодежь того времени так любила читать в рукописи, нельзя не улыбнуться их детской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипит, то сил избыток!

Пушкин был человек предания гораздо больше, нежели как об этом еще и теперь думают. Пора его «стишков» скоро кончилась, потому что скоро понял он, что ему надо быть только художником и больше ничем, ибо такова его натура, а следовательно, таково и призвание его. Он начал с того, что написал эпиграмму на Карамзина, советуя ему лучше докончить «Илью Богатыря», нежели приниматься за историю России, а кончил тем, что одно из лучших своих произведений написал под влиянием этого историка и посвятил «драгоценной для *Россиян* памяти Николая Михайловича Карамзина *сей* труд, гением его вдохновенный». Нельзя не согласиться, что есть что-то официальное и канцелярское в самом складе и языке этого посвящения, написанного по ломоносовской конструкции, с заветным «сей». Кстати о *сих*, *оних*

и *таковых*: Пушкин всегда употреблял их по любви к преданию, хотя к его сжато, определенному, выразительному и поэтическому языку они так же плохо шли, как грязные пятна идут к модному платью светского человека, собравшегося на бал. Но когда «Библиотека для чтения» воздвигла гонения на эти *старопечатные* слова, Пушкин еще более, еще чаще начал употреблять их к явному вреду своего слога. В этом поступке не было духа противоречия, ни на чем не основанного; напротив, тут действовал дух принципа слепого уважения к преданию. Если уважение к преданию так сильно выразилось в отношении к *сим, оным, таковым* и *коим*, то естественно, что оно ещё сильнее должно было проявляться в Пушкине в отношении к живым и мертвым авторитетам русской литературы. Пушкин не знал, как и возвеличить поэтический талант Баратынского, «и видел большого поэта даже в Дельвиге; г. Катенин, по его мнению, воскресил величавый гений Корнеля – безделица!.. Из старых авторитетов Пушкин не любил только одного Сумарокова, которого очень неосновательно ставил ниже даже Тредьяковского. Всякая сколько-нибудь резкая, хотя бы в то же время и основательная критика на известный авторитет огорчала его и не нравилась ему, как посягательство на честь и славу родной литературы. Но в особенности не знало меры его уважение и, можно сказать, его благоговение к Карамзину, чему причиною отчасти было и то, что Пушкин был окружен людьми карамзинской эпохи и сам был воспитан и образован в ее

духе.<sup>[7]</sup> Если он мощно и победоносно выходил из духа этой эпохи, то не иначе, как поэт, а не как мыслящий человек, и не мысль делала его великим, а поэтический инстинкт. Конечно, Пушкина не могли бы так сильно покорить мелкие произведения Карамзина, и Пушкин не мог находить особенной поэзии в его стихотворениях и повестях, не мог особенно увлечься приятным и сладким слогом его статей и их направлением; но Карамзин не одного Пушкина – несколько поколений увлек окончательно своею «Историєю государства российского», которая имела на них сильное влияние не одним своим слогом, как думают, но гораздо больше своим духом, направлением, принципами. Пушкин до того вошел в ее дух, до того проникнулся им, что сделался решительным рыцарем истории Карамзина и оправдывал ее не просто как историю, но как политический и государственный коран, долженствующий быть пригодным, как нельзя лучше, и для нашего времени, и остаться таким навсегда.

Удивительно ли после этого, что Пушкин смотрел на Годунова глазами Карамзина и не столько заботился об истине и поэзии, сколько о том, чтоб не погрешить против «Истории государства российского»? И потому его поэтический инстинкт виден не в целостности (*l'ensemble*), а только в частностях его трагедии. Лицо Годунова, получив характер мелодраматического злодея, мучимого совестью, лишилось своей целостности и полноты; из живописного изображения, каким бы должно было оно быть, оно сделалось мозаическою кар-

тиною, или, лучше сказать, статуею, которая вырублена не из одного цельного мрамора, а сложена из золота, серебра, меди, дерева, мрамора, глины. От этого пушкинский Годунов, является читателю то честным, то низким человеком, то героем, то трусом, то мудрым и добрым царем, то безумным злодеем, и нет другого ключа к этим противоречиям, кроме упреков виновной совести... От этого, за отсутствием истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы целость и полноту всей трагедии, «Борис Годунов» Пушкина является чем-то неопределенным и не производит почти никакого резкого, сосредоточенного впечатления, какого вправе ожидать от нее читатель, беспрестанно поражаемый ее художественными красотами, беспрестанно восхищающийся ее удивительными частностями.

И действительно, если, с одной стороны, эта трагедия отличается большими недостатками, то, с другой стороны, она же блистает и необыкновенными достоинствами. Первые выходят из ложности идеи, положенной в основание драмы; вторые – из превосходного выполнения со стороны формы. Пушкин был такой поэт, такой художник, который как будто не умел, если бы и хотел, и дурную идею воплотить не в превосходную форму. Прежде всего, спросим всех сколько-нибудь знакомых с русскою литературою: до пушкинского «Бориса Годунова» из русских читателей или русских поэтов и литераторов имел ли кто-нибудь какое-нибудь понятие о языке, которым должен говорить в драме русский чело-

век допетровской эпохи? Не только прежде, даже после «Бориса Годунова» явилась ли на русском языке хотя одна драма, содержание которой взято из русской истории и в которой русские люди чувствовали бы, понимали и говорили по-русски? И читая всех этих *Ляпуновых, Скопиных-Шуйских, Баториев, Иоаннов Третьих, Самозванцев, Царей Шуйских, Елен Глинских, Пожарских*, которые с тридцатых годов настоящего столетия наводнили русскую литературу и русскую сцену, – что видите вы в почтенных их сочинителях, если не Сумароковых нашего времени? Не будем говорить о русских трагедиях, появлявшихся до пушкинского «Бориса Годунова», чего же можно и требовать от них! Но что русского во всех этих трагедиях, которые явились уже после «Бориса Годунова?» И не можно ли подумать скорее, что это немецкие пьесы, только переложенные на русские нравы? Словно гигант между пигмеями, до сих пор высится между множеством quasi-русских<sup>5</sup> трагедий пушкинский «Борис Годунов», в гордом и суровом уединении, в недоступном величии строгого художественного стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикою похвал и удивления на сцену в келье Чудова монастыря между отцом Пименом и Григорьем... В самом деле, эта сцена, которая была напечатана в одном московском журнале года за четыре или лет за пять до появления всей трагедии и которая тогда же наделала много шума, – эта сцена, в художе-

---

<sup>5</sup> Будто бы русских. – *Ред.*

ственном отношении, по строгости стиля, по неподдельной и неподражаемой простоте выше всех похвал. Это что-то великое, громадное, колоссальное, никогда не бывалое, никем не предчувствованное. Правда, Пимен уж слишком идеализирован в его первом монологе, и потому чем более поэтического и высокого в его словах, тем более грешит автор против истины и правды действительности: не русскому, но и никакому европейскому отшельнику-летописцу того времени не могли войти в голову подобные мысли —

.....Недаром многих лет  
Свидетелем господь меня поставил  
И книжному искусству вразумил:  
Когда-нибудь монах трудолюбивый  
Найдет мой труд усердный, безымянный;  
*Засветит он, как я, свою лампаду,  
И, пыль веков от хартий отряхнув,  
Правдивые сказанья перепишет.*

.....

.....

На старости я сызнова живу,  
Минувшее проходит предо мною —  
Давно ль оно неслось, событий полно,  
Волнуясь, как море-окиян?  
Теперь оно безмолвно и спокойно,  
Немного лиц мне память сохранила,  
Немного слов доходит до меня,  
А прочее погребло невозвратно.

Ничего подобного не мог сказать русский отшельник-летописец конца XVI и начала XVII века; следовательно, эти прекрасные слова – ложь... но ложь, которая стоит истины: так исполнена она поэзии, так обаятельно действует на ум и чувство! Сколько лжи в этом роде сказали Корнель и Расин, – и однакож просвещеннейшая и образованнейшая нация в Европе до сих пор рукоплещет этой поэтической лжи! И не диво: в ней, в этой лжи относительно времени, места и нравов, есть истина относительно человеческого сердца, человеческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельник Пимен не мог так высоко смотреть на свое призвание, как летописец; но если б в его время такой взгляд был возможен, Пимен выразился бы не иначе, а именно так, как заставил его высказаться Пушкин. Сверх того, мы выписали из этой сцены решительно все, что можно осуждать как ложь в отношении к русской действительности того времени: все остальное так глубоко проникнуто русским духом, так глубоко верно исторической истине, как только мог это сделать лишь гений Пушкина – истинно национального русского поэта. Какая, например, глубоко верная черта русского духа заключается в этих словах Пимена;

Да ведают потомки православных  
Земли родной минувшую судьбу,  
Своих царей великих поминают

За их труды, за славу, за добро —  
А за грехи, за темные деянья,  
Спасителя смиренно умоляют.

Вообще в этой сцене удивительно хорошо обрисованы в их противоположности, характеры Пимена и Григорья; — один — идеал безмятежного спокойствия в простоте ума и сердца, как тихий свет лампы, озаряющей в темном углу иконы византийской живописи; другой — весь беспокойство и тревога. Григорью трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, он дивится величавому спокойствию, с которым старец пишет свою летопись, — и в это время рисует идеал историка, который в то время был невозможен, другими словами, выговаривает превосходнейшую поэтическую ложь:

Ни на челе высоком, ни во взорах  
Нельзя прочесть его *высоких дум*:<sup>[8]</sup>  
Все тот же вид смиренный, величавый.  
Так точно дьяк, в приказах поседельй,  
Спокойно зрит на правых и виновных,  
Добру и злу внимая равнодушно.  
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Затем, он рассказывает старцу о «бесовском мечтании», смущавшем сон его:

Мне снилось, что лестница крутая

Меня вела на башню; с высоты  
Мне виделась Москва, что муравейник;  
Внизу народ на площади кипел  
И на меня указывал со смехом;  
И стыдно мне, и страшно становилось  
И, падая стремглав, я пробуждался...

В этом тревожном сне – весь будущий Самозванец... И как по-русски обрисован он, какая верность в каждом слове, в каждой черте! Вот еще два монолога – факты глубоко верного, глубоко русского изображения этих двух, чисто русских и так противоположных характеров:

*Пимен.*

Младая кровь играет;  
Смирйя себя молитвой и постом,  
И сны твои видений легких будут  
Исполнены. Доныне – если я,  
Невольною дремотой обессилен,  
Не сотворю молитвы долгой к ночи —  
Мой старый сон не тих и не безгрешен:  
Мне чудятся то шумные пиры,  
То ратный стан, то схватки боевые,  
Безумные потехи юных лет!

*Григорий.*

Как весело провел свою ты младость!  
Ты воевал под башнями Казани,

Ты рать Литвы при Шуйском отражал,  
Ты видел двор и роскошь Иоанна!  
Счастлив! а я от отроческих лет  
По келиям скитаюсь, бедный инок!  
Зачем и мне не тешиться в боях,  
Не пировать за царскою трапезой?  
Успел бы я, как ты, на старость лет,  
От суеты, от мира отложиться,  
Произнести монашества обет  
И в тихую обитель затвориться.

Следующий затем длинный монолог Пимена о суете света и преимуществе затворнической жизни – верх совершенства! Тут русский дух, тут Русью пахнет! Ничья, никакая история России не даст такого ясного, живого созерцания духа русской жизни, как это простодушное, бесхитростное рассуждение отшельника. Картина Иоанна Грозного, искавшего успокоения «в подобии монашеских трудов»; характеристика Феодора и рассказ о его смерти, – все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни допетровской эпохи! Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себе есть великое художественное произведение, полное и оконченное. Она показала, как, каким» языком должны писаться драматические сцены из русской истории, если уж они должны писаться, – и если не навсегда, то надолго убила возможность таких сцен в русской литературе, потому что скоро ли можно дожидаться такого таланта, который после Пушкина мог бы

подвизаться на этом поприще?.. А при этом еще нельзя не подумать, не истощил ли Пушкин своею трагедиею всего содержания русской жизни до Петра Великого, так что касаться других эпох и других событий исторических значило бы только с другими именами и названиями повторять одну и ту же основную мысль и потому быть убийственно однообразным?..

Теперь о частностях. Вся трагедия как будто состоит из отдельных частей, или сцен, из которых каждая существует как будто независимо от целого. Это показывает, что трагедия Пушкина есть драматическая хроника, образец которой создан Шекспиром. Кроме превосходной сцены в Чудовом монастыре, между старцем Пименом и Отрепьевым, в трагедии Пушкина есть много прекрасных сцен. Таковы: *первая* – в кремлевских палатах, между Воротынским и Шуйским, в которой и исторически, и поэтически верно обрисован характер Шуйского; *вторая* – сцена народа и дьяка Щелкалова на площади; *третья* – в кремлевских палатах, между Борисом, согласившимся царствовать, патриархом и боярами. В этой сцене превосходно обрисовано *добросовестное лицемерство* Годунова, – в том смысле добросовестное, что, обманывая других, он прежде всех обманывал самого себя, как всякий талант, обольщаемый ролью гения. Прекрасно также окончание этой сцены, происходящее между Воротынским и Шуйским, где характер последнего все более и более развивается; его слова —

Теперь не время помнить.  
Советую порой и забывать, —

так оригинальны, что должны со временем обратиться в любимую поговорку для благоразумных и осторожных людей вроде Шуйского. Превосходна маленькая сцена между патриархом и игуменом, написанная прозою: это один из драгоценнейших перлов трагедии.

Мы уже говорили, по поводу шестой сцены, о целой трагедии: в ней Борис является злодеем, сперва сваливающим вину своих неудач и оскорблений на неблагодарность народа и после рассуждающим о том, как жалок тот, в ком нечиста совесть. Нам кажется, что это не драма, а мелодрама: истинно драматические злодеи никогда не рассуждают сами с собою о невыгодах нечистой совести и о приятности добродетели. Вместо этого они действуют, чтоб дойти до цели или удержаться у ней, если уж дошли до нее.

Седьмая сцена в корчме на литовской границе — превосходна. Жаль только, что желание высказать резче дерзость Отрепьева увлекло поэта в мелодраматизм, заставив его спровадить Самозванца в окно корчмы, в которое и курица проскочила бы с трудом. К лучшим сценам трагедии принадлежит восьмая — в доме Шуйского. Превосходно, выше всякой похвалы, передал в ней поэт устами Шуйского ропот и жалобы на Годунова его современников. Выше мы уже

выписали этот монолог.

Следующая затем большая сцена представляет собою две части. В первой Борис превосходно очерчен, как примерный семьянин, нежный отец: он утешает дочь, овдовевшую невесту, говорит с сыном о сладком плоде учения, о том, как помогает наука державному труду. Все это так просто, так естественно, и Борис является в этой сцене во всем свете своих лучших качеств. Во второй части сцены Борис узнаёт от Шуйского о появлении Самозванца. Странное волнение, обнаруженное Борисом при этом известии, основано поэтом на виновной совести Годунова, и его поспешность к решительным мерам противоречит исторической истине: известно, что Годунов вначале принял слишком слабые меры против Отрепьева, вероятно, не считая его за опасного врага. Но если смотреть на эту сцену с точки зрения Пушкина, в ней много драматического движения, много страсти. Борис в страшном волнении, а Шуйский, не теряя присутствия духа от мысли, что это волнение может ему стоить головы, ни на минуту не перестает быть придворною лисою. Годунов спрашивает его, как человека, производившего следствие о смерти царевича, точно ли он видел его труп, и не было ли подмены. «Отвечай», – говорит он ему.

*Шуйский.*

Клянись тебе...

*Царь.*

Нет, Шуйский, не клянись,  
Но отвечай: то был царевич?

*Шуйский.*

Он.

*Царь.*

Подумай, князь. Я милость обещаю.  
Прошедшей лжи опалою напрасной  
Не накажу. Но если ты теперь  
Со мной хитришь, то головою сына  
Клянусь – тебя постигнет злая казнь.  
Такая казнь, что царь Иван Васильич  
От ужаса во гробе содрогнется.

*Шуйский.*

Не казнь страшна; страшна твоя немилость!  
Перед тобой дерзну ли я лукавить?

Сцена в Кракове, в доме Вишневецкого, между Самозванцем и иезуитом Черниковским, очень хороша, за исключением ломоносовской фразы – «сыны славян», некстати вложенной поэтом в уста Самозванцу. Продолжение и конец этой сцены, где Самозванец говорит с сыном Курбского, с разными русскими, приходящими к нему, с поляком Собаньским и поэтом, не представляют никаких особенно резких черт.

За маленькую, но прелестною сценою в замке Мнишка в Самборе следует знаменитая сцена у фонтана. В ней Само-

званец является удальцом, который готов забыть свое дело для любви, а Марина – холодную, честолюбивую женщиною. Вообще эта сцена очень хороша, но в ней как будто чего-то недостает или как будто проглядывают какие-то ложные черты, которые трудно и указать, но которые тем не менее производят на читателя не совсем выгодное для сцены впечатление. Кажется, не преувеличил ли поэт любовь Самозванца к Марине, не сделал ли он из минутной прихоти чувственного человека какую-то глубокую страсть? Самозванец в этой сцене слишком искренен и благороден; порывы его слишком чисты: в них не видно будущего растлителя несчастной дочери Годунова... Кажется, в этом заключается ложная сторона этой сцены. Безрассудство Самозванца, его безумное признание перед Мариною в самозванстве совершенно в его характере, пылком, отважном, дерзком, на все готовом, но решительно не способном ни на что великое, ни на какой глубоко обдуманной план; совершенно в его характере и мгновенные порывы животной чувственности, но едва ли в его характере человеческое чувство любви к женщине. Характер Марины удивительно хорошо выдержан в этой сцене.

Сцена на литовской границе между молодым Курбским и Самозванцем до того приторна, фразиста и исполнена пустой декламации, выдаваемой за пафос, что трудно поверить, чтоб она была написана Пушкиным...

Сцена в царской думе между Годуновым, патриархом и боярами может быть хороша, даже превосходна только с

пушкинской точки зрения на участие Годунова в смерти царевича; если же смотреть на нее иначе, она покажется искусственной и потому ложною. Но в ней есть две превосходнейшие черты: это речь патриарха о чудесах, творимых останками царевича, и о чудном исцелении старого пастуха от слепоты. Вторая черта – ловкий оборот, которым хитрый Шуйский выводит Годунова из замешательства, в какое привело его неожиданное предложение патриарха.

Сцена на равнине, близ Новгорода-Северского, очень интересна своею живостью, характером Маржерета и даже пестрою смесью языков и лиц. Сцена юродивого на Кремлевской площади может быть сочтена даже за превосходную, но только с пушкинской точки зрения на виновную совесть Бориса. В сцене под Севском Самозванец обрисован очень удачно, особенно хороша эта черта.

*Самозванец.*

Ну! обо мне как судят в вашем стане?

*Пленник.*

А говорят о милости твоей,  
Что ты, дескать (будь не во гнев) и вор,  
А молодец.

*Самозванец (смеясь).*

Так это я на деле  
Им докажу.

В сцене в царских палатах, между Годуновым и Басмановым, оба эти лица являются в каком-то странном свете. Годунов собирается уничтожить местничество (!!). Басманов этому, разумеется, рад. Оба они рассуждают об управлении народом, и Годунов окончательно решает:

Нет, милости не чувствует народ:  
Твори добро – не скажет он спасибо;  
Грабь и казни – тебе не будет хуже.

Басманов за это величает его «высоким державным духом», желает ему поскорее управиться с Отрепьевым, чтоб потом «сломить рог родовому боярству». Но вот Борис умирает, вот дает он последние наставления своему наследнику: что же особенного в этих наставлениях? Из них замечательно только одно:

Не изменяй теченья дел. Привычка —  
Душа держав...

В этом, как и во всем остальном, что говорит умирающий Годунов своему сыну, виден царь умный, способный и опытный, который был бы одним из лучших царей русских, если бы престол достался ему по праву наследия, – но слишком ограниченный ум для того, чтоб усидеть на захваченном троне... Крик мужика на амвоне лобного места: «вязать борисо-

ва щенка!» – ужасен, – это голос всего народа, или, лучше сказать, голос судьбы, обрекшей на гибель род несчастного честолюбца, взявшего на себя бремя не по силам... Пушкин непременно хотел тут выразить голос судьбы, обрекшей на гибель род злодея, цареубийцы... Может быть, это было и так; но спрашиваем: который из Годуновых более трагическое лицо – цареубийца, наказанный за злодеяние, или достойный человек, падший за недостатком гениальности? Трагическое лицо непременно должно возбуждать к себе участие. Сам Ричард III – это чудовище злодейства, возбуждает к себе участие исполинскою мощью духа. Как злодей, Борис не возбуждает к себе никакого участия, потому что он – злодей мелкий, малодушный; но, как человек замечательный, так сказать, увлеченный судьбою взять роль не по себе, он очень и очень возбуждает к себе участие: видишь необходимость его падения и все-таки жалеешь о нем...

Превосходно окончание трагедии. Когда Мосальский объявил народу о смерти детей Годунова, – *народ в ужасе молчит*... Отчего же он молчит? разве не сам он хотел гибели годуновского рода, разве не сам он кричал: «вязать борисова щенка»?.. Мосальский продолжает: «Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!» – *Народ безмолвствует*.

Это последнее слово трагедии, заключающее в себе глубокую черту, достойную Шекспира... В этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос новой Немезиды,

изрекающей суд свой над новою жертвою – над тем, кто погубил род Годуновых...

# Комментарии

1.

«Борис Годунов» был окончен 7 ноября 1825 года, а «Полтава» 16 октября 1828 года, следовательно, последняя не может относиться к трагедии, как «стремление относится к достижению». Кроме того, маленькая неточность: «Сцена из трагедии «Борис Годунов». 1603 год. Ночь. Келья в Чудове монастыре. Отец Пимен, Григорий спящий.» была напечатана в «Московском вестнике» не в 1828 году, а в 1827 году, в № 1, стр. 2–10).

2.

Особенно резок был отзыв Булгарина в «Северной пчеле» (1830, № 35): «Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины достойной воззрения! Совершенное падение, chute complete!» Издатель «Северного Меркурия» писал о «Борисе Годунове», вышедшем в декабре 1830 года: «Убогая обнова, увы! на новый год!» (1831, № 1, стр. 8).

3.

Мысли Белинского по этому вопросу совпадали с мыслями Пушкина. См. «О русской литературе с очерком французской» (1834), наброски статьи о третьей части «Истории русского народа» Н. Полевого.

4.

Сравнение текстов «Бориса Годунова» с «Историей» Карамзина показывает, что Пушкин следовал за историком лишь в фабуле и развитии сюжета. Но Пушкин был совершенно самостоятелен в главном – в оценке роли народа в исторических событиях «смутного времени».

5.

Белинский в отроческие годы знал «Дмитрия Самозванца» Сумарокова чуть ли не наизусть. Трагедия шла с успехом в пензенском театре еще в середине 20-х годов.

6.

Белинский считает, что Пушкин, вслед за Карамзиным, слабо мотивировал причины неудач Бориса Годунова. Все дело будто бы в том, что Борис не «законный» царь. Между тем у Пушкина вопрос, решается неизмеримо глубже. Через всю трагедию лейтмотивом проходит мысль: власть может быть сильна только «мнением народным».

7.

Пушкин высоко ценил поэзию Е. А. Баратынского. Он отметил в его стихах «верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность». «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален – ибо мыслит», – писал Пушкин в 1831 году. Но Белинский

писал о Баратынском уже в пору «Сумерек» (1842), когда его поэзия оказалась не в ладу с общественными настроениями 40-х годов. Значение А. Дельвига Пушкин действительно несколько преувеличивал. Что касается П. А. Катенина, то Пушкин, конечно, не видел в нем «второго» Корнёля. Главные свои надежды он возлагал на Катенина-критика. Не было у Пушкина и благоговения к Карамзину. В «Истории села Горюхина» Пушкин пародировал официальную историографию своего времени и, следовательно, Карамзина.

## 8.

У Пушкина: «Нельзя прочесть его сокрытых дум» и затем: «Так точно дьяк в приказе поседельй» (т. I, стр. 274).